- Левски
- Бенковски
- Оборона Перуштицы
- Братья Жековы
- Каблешков
- Паисий
- Братья Миладиновы
- Раковски
- Караджа
- 1876
- Волов
- Ополченцы на Шипке

Левски

Васил Левски (18.07.1837 – 18.02.1873)

«Душе моей тесно в монашеской келье.
Когда от соблазнов, сует и веселья —
от мира уходит сюда человек,
он каяться должен, смирившись навек.
Но совесть моя говорит мне упорно:
покрывшись монашеской рясою черной,
приблизиться я не смогу к небесам:
когда, чтоб молиться, иду я во храм,
я думаю, песням о рае внимая.
Бог слышит того, кто проходит, рыдая,
долиною слез я чей путь нестерпим.
Но тает молитва моя, словно дым.
и сердце господне к молениям глухо,
и Бог отвращает от них свое ухо.

Мне кажется, в рай неизвестны пути.
Туда через келью мне вряд ли войти,
в молитве поклоны кладя дни и ночи,
и кажется мне, что пути есть короче —
что вдовьи рыданья и слезы сирот,

что каждого честного пахаря пот,
что слово благое и правое дело,
что правда, народу открытая смело,
что братская помощи скрытой рука,
протянутая, чтоб спасти бедняка,
Всевышнему много милей и дороже
молений и гимнов о милости божьей.
Отныне я знаю, что близкие нам,
что братья — не здесь, а за стенами, там;
что в жизни есть боле достойные цели,
чем песни о Боге в монашеской келье;
что я, в этой рясе, с большой бородой
тому, кто в несчастье, защитник плохой;
что тот, кто истерзан в тюрьме палачами,
не будет спасен никакими псалмами,
и он вместо жаркой молитвы моей
нуждается в том, кто поможет скорей:
что жизнь чабана — среди гор со стадами,—
измученного и жарой и дождями.
Что иго, поправшее братьев моих,
тяжелою цепью сковавшее их —
мой грех; и пора мне в дорогу иную —
покинуть обитель, для мира чужую,
и слово надежды тому принести,
кто цепи влачит на тяжелом пути».
Сказал и ушел.
Он блуждал девять лет,
бездомный, уже по-иному одет.
Без сна и покоя, под именем новым
и с сердцем на подвиг и муки готовым.
Он нес и сознанье и свет для борьбы —
и в рабской стране прозревали рабы.
И кратки и просты слова его были
и в людях надежды, мечты пробудили.
О бунте он им говорил, о борьбе,
как празднике светлом, — о новой судьбе,
которой пока еще срок неизвестен.

Испытывал, кто благороден, кто честен,
кто выйдет на подвиг, кто подвигу - рад,
и тот, кто внимал ему, был ему брат.
Глядел он к грядущее темное смело,
любовью к отечеству сердце горело.
Он, вечный скиталец, ребячески прост.
Жил скудно, подобно отшельнику в пост.
Познали его утомленные ноги
степные дороги, лесные дороги,
и голос его был пустыне знаком.
Была ему днем и во мраке ночном
дверь хижины каждой радушно раскрыта.
Он спать не боялся под небом открытым,
к скитаньям своим одиноким привык.
Он — юноша утром, а к ночи — старик;
сегодня купцом, завтра нищим являлся.
В слепца и калеку он преображался.
Сегодня в село, завтра в город войдет
с вестями, что близится переворот,
о бунте ведя сокровенные речи,
о том, что пора подъяремные плечи
рабам поднимать; что прославится тот,
кто первый прольет свою кровь за народ.
кто знамя поднимет! Трусливым — презренье,
и в смелой, открытой борьбе — упоенье.
«Все будем равны мы в тот час», говорил
и бодрость и сознанье народа будил,
и старых и юных влекли его речи.
Все шли его правому делу навстречу:
богатый — деньгами, а бедный — трудом,
иглою — швея, и ученый — умом,
а он, я раздет и разут —всех беднее! —
пожертвовал родине жизнью своею.
Бесстрашен, свершил бы он подвиг Христа;
стократно он принял бы тяжесть креста;
охотно бы дал отрубить себе руку;
сгорел бы, как Гус! Он пошел бы на муку!

За правду, как друга бы, смерть повстречал,
запрятанный яд при себе он держал,
носил он всегда и оружье с собою,
проверенное и готовое к бою.
Покоя не знал он, не спал по ночам,
и в дух и в огонь обратился он сам,
и мысли вливал он в единое слово,
и хмурил порою свой лоб он сурово —
дышали в чертах молодого лица
железная воля, душа храбреца.
Он тенью незримой бродил меж домами,
бывал он и на посиделках и в храме;
Без шума войдет и уйдет без следа,
гонимый и жданный везде и всегда.
Он в шумное общество как-то явился,
пришел неожиданно, всем поклонился,
пощечину дал подлецу одному,
и, город покинув, ушел он во тьму.
Одно его имя тревогу рождало.
Как демон, он был вездесущ, и бывало
искали его городах в двадцати,
и все ж не могли его власти найти.
Пред мрачным лицом его все трепетали.
Простые крестьяне святым его звали
и тайно сходясь то в лесу, то в дому,
с открытыми ртами внимали ему.

От слов его даль становилась яснее.
На сердце у всех становилось светлее.
и дивное семя, в сердца упадая,
всходило, большой урожай обещая.
Так было.

Он предан был неким попом,
ползучею гадиной, низким рабом.
Который в бесстыдстве своем окаянном
его погубил своим черным обманом.

Для бога позор и на храме пятно,
для нашей земли поношенье одно —
тот змей, что служителя Божьего имя
похитил — который губами своими
одну только злобу и яд источал.
«Вот Левский! Берите!» предатель сказал.
Об имени изверга я умолчу.
Я песню мою осквернить не хочу.
Кормила безумная мать его грудью.
В предательстве равного только Иуде.
И в слезы и в траур поверг он народ.
И он еще жив — среди нас он живет!
А тот, кого изверг тюремщикам предал,
Апостол — каких только мук не изведал
в темнице... Но только над гордой душой
нет власти у них... Он стоял, как немой. —
ни слова! — толпою убийц окруженный...
Не вырвали мольб, обещания, стона...
Предательства не совершил он — пророк.
Он к смерти был близок, от страха далек.
Пытавшим — под каждою пыткою новой —
на все их вопросы твердил он сурово:
«Я — Левский! Ведите!» — но прочих имен
не выдал в застенке мучителям он.
Тиран не сломил его духа, и он
на лютую казнь был к утру осужден.
Одно у царей ненавистных желанье:
убить непокорную гордость сознанья,
и голос, и мысли движенье вперед,
и вечную истину, что не умрет, —
и каждый из них изобрел по секире,
Чтоб уничтожать все бессмертное в мире:
скала — Прометею над бездной морской,
Сократу — отрава со злой клеветой,
и цепь для Колумба, и пламя для Гуса,
и крест и терновый венец для Исуса.
И мучеников озаряло потом

Величье прекрасным и вечным венцом.
Был Левский повешен.
О, слава герою!
Мы видели, виселица, под тобою
вверху, у прямых перекладин твоих,
качающихся столько жертв дорогих.
И видели мы, как тиран веселится
и как над повешенными он глумится...
Жестокая виселица! На тебе
есть отсвет геройства, рожденный в борьбе.
Приспешники рабства, свирепых законов,
насильники, и палачи, и шпионы
пускай умирают в постелях своих
спокойно... Клеймо преступленья на них!
Нет, виселица, не была ты позорной
для Левского! Встала вершиною горной
свобода пред ним. И — пряма и светла —
дорога в бессмертье героя вела.

Бенковски

Георги Бенковски (21.09.1843 – 25.05.1876)

Ни души на взгорьях и в долинах ровных,
голые утесы, долы да терновник.
Тишиной могильной скован мир вокруг,
в синеве небесной затаен испуг.
Темный лес, дремучий, лес под небосклоном
тем черней, чем дальше. В поднебесье сонном
медленно кружится, плавает орел,
он почуял падаль, пищу он обрел.
В холодке расселин гады притаились,
молодой кустарник на каменья вылез;
оползни и плеши каменной гряды,
склоны без деревьев, реки без воды
отпугнули взоры, измотали душу.

Из долины горной, из долины влажной
свой отряд выводит богатырь отважный.
То герой Бенковски. Да, Бенковски сам!
Он провел дружину по крутым горам;
а в глазах героя мысль сверкает смело,
гордый луч отваги, свет большого дела.

Чуть сигнал юнака роковой раздался,
и народ болгарский на врага поднялся:
волею железной и железным словом,
слабых наделяет он порывом новым,
клич его раздался: «Что нам смерть сама,
восставайте, братья, сбросьте гнет ярма!»
Все затрепетали перед зовом мощным,
пред героем славным, демоном полнощным,
властно произнесшим страшные слова...

Отчего же долу никнет голова?
Потерпели други в битве пораженье,
нынче каждый сходен с собственною тенью,
семьдесят их было — четверо в живых.
Кто расстался с жизнью в схватках роковых,
кто в полоне жалком. Кто в дороге дальней
нынче, убоявшись участи печальной...
Шли с трудом повстанцы, затаив тоску,
шли по золотому мелкому песку;
ружья без патронов, горные дороги,
трудно шли повстанцы, волочили ноги:
славен был их подвиг, а судьба тяжка,
две недели бродят, хлеба ни куска!
В пекло, в непогоду по лесам скитаясь,
шли сквозь все невзгоды, шли, травой питаясь,
тягостные мысли в голове бегут,
Но светлеют души — ведь Бенковски тут.
Да, Бенковски с ними, молчаливый, страшный,
им в беде поддержка и пример всегдашний.
Бледный и усталый, молча он идет,
иногда лишь властно вымолвит: «Вперед!»
Он ведет отряд свой далеко-далёко,
а на лбу морщины пролегли глубоко,
в голове героя пестрых мыслей рой,
ясных планов проблеск, свет и мрак порой.
Нет, не меркнет память подвигов и пыток,
память всех несчастий и надежд разбитых, —

сколько жертв напрасных и погибших сил,
лютый натиск вражий все испепелил!
Бунт прошел, пронесся гневным вихрем странным,
промелькнул коротким сильным ураганом!

Так куда идти им?.. Вдруг — огонь и дым,
зарево взметнулось за холмом крутым.
Три отважных друга рухнули снопами,
кровь еще дымится, а песок, что пламя;
дым взлетел над дулом, сразу гром затих,
эхо повторилось в зарослях лесных.
Турки из засады выскочили смело,
отчего же храбрость ими овладела?
Жив один остался — все на одного,
двадцать черных ружей целятся в него.
Турки собирались дело кончить живо,
«Руки вверх!» — воскликнул их вожак визгливо.
Встали в рост аскеры, ярость в их глазах.
Вот он перед ними — одинокий враг!
Тлеет жажда мести в их глазах свирепых,
кажется, что круг их нерушим и крепок!

Стоя в окруженье, яростен и дик,
потеряв надежду, горд и огнелик,
ранен пятикратно, перед смертью ясной
пасть не пожелал он, точно раб безгласный:
револьвер он вынул, выстрелил в висок
и, непобедимый, рухнул на песок!

И хаджи Люзгяр-бей, турок предводитель,
увидал, как славно пал в бою воитель,
как из рук аскеров — горд, и чист, и смел,
с верою, с почетом вырваться сумел!
Он взглянул на бледный лоб окровавленный,
и в глаза, что стыли в ярости бессонной,
увидал, как пальцы сжали рукоять
револьвера, словно бой их ждал опять!

Как уста открылись, губы посинели,
«Смерть или свобода!» — произнесть хотели.
Трепет уваженья испытав и дрожь,
предводитель молвил: «Люди, это кто ж?»
Все кругом молчали. Но один сраженный,
на мгновенье чудом к жизни возвращенный,
прошептал: «Бенковски»,— руку протянул
в сторону героя и навек уснул.

Оборона Перуштицы

Сегодня мы вспомним о славе движенья
године сраженья, мгновеньях паденья!
О битве, доныне неведомой нам,
где вместе смешались геройство и срам!

Толпилися дети и девушки в храме,
там матери рядом стояли с отцами,
там были повстанцы — отважный народ;
знал каждый, какая судьба его ждет.
Три дня уже церкви могучие стены
враги обступали. Ни страх, ни измены,
ни злые угрозы сломить не могли
бойцов угнетенной болгарской земли!
Спокойно держался народ непокорный,
никто и не думал о сдаче позорной;
был зной, были камни, как жар, горячи:
легко ли дышать в раскаленной печи?
Иные уже выбивались из сил,
и порохом пахло, и голод вопил,
младенцы рыдали, слезами омыты,
их юные матери были убиты,
весь храм был — борьбы величавой очаг,
и гневное пламя пылало в очах:
богатых и бедных, больных и здоровых,
детишек и старцев сереброголовых
один благородный порыв окрылил;
и мальчик отважный винтовку схватил,
и мать, подавая ружье боевое,
чуть слышно шептала: «Дитя, я с тобою!»
И старая бабка, ей лет без числа,
разящие пули в подоле несла,
и ярость в груди подымалась волною,

муж встал у оконца с любимой женою,
и сыпала порох на полку жена,
и дети кричали: была им страшна
та битва, что в жизни впервые узрели,
и кровь проливалась, и лица бледнели.
Держались герои во храме святом,
иные последним забылися сном.
И смерть — в душном облаке порохового
косматого дыма — бойцам уже снова
казалась простой и не страшной ничуть, —
и кровь исторгала кормящая грудь.
Стал мстителем каждый, стал меток и ловок,
и дряхлые старцы искали винтовок!

Кровь хлынула в голову бешеным псам,
и ринулись турки в атаку на храм:
стреляли, ревели, отчаянно выли
и падали замертво в гневе бессилья.
Главарь их, над грудой растерзанных тел,
обрызганных кровью, безмолвно глядел,
бледнел он, испуга в груди не тая:
пощады не зная, стреляла райя!
Уже не молился никто из болгар,
а в цель направляли за ударом удар,
разбойников гнусных свинцом поливая...

Но вдруг зашумела дорога большая,
султанские там показались войска,
постигли болгары, что гибель близка.
Все те, что забились в господню обитель,
увидели — к ним приближается мститель,
и битва затихла... Развеялся дым,
и кто-то промолвил, тревогой томим:
«Сражались мы с башибузуками, братья,
с их грязной, кровавой и дикою ратью,
а войску султана сдадимся, друзья!» —
«Нет! Лучше погибнуть!», «Сдаваться нельзя!»

«Давайте нам ружья!», «Врагу покориться?
Нет, лучше мы будем до гибели биться!» —
«Где этот предатель? Всех трусов долой!» —
«Нет мира — покорности нету былой!»
И женщина крикнула войску султана:
«Позор вам!» — и рухнула в пыль, бездыханна.
Турецкие залпы услышал народ,
болгары, почувствовав ярости взлет,
сказали, в порыве угрюмом и гордом:
«Султанским сдаваться не станем мы ордам!»
Тут вновь разгорелся сражения гнев
и снова свинец засвистал, полетев.
Все меньше бойцов в том бою оставалось,
смерть в храме господнем как птица металась,
отчаянье встало над болью смертей,
родители не узнавали детей!
Война ополчилась на запертых в храме,
снаряды неслись, изрыгавшие пламя,
и стены расселись — и треснули вдруг,
как молнией черной расколотый бук,
как будто из недр поднялось громыханье,
и все увидали, что рушится зданье.

Перуштице слава, героев гнезду!
Сыны твои храбро встречали беду, —
могилам твоим, пепелищам и праху
отважных рабов, что восстали без страха!
Держалась ты, сил собирая остатки,
и пала геройски в трагической схватке,
В неравной борьбе против турок-зверей
сияла ты львиной душою своей,
главы не склонила ты, не ослабела,
храня от позора священное дело;
идея свободы тебя освятила,
за страшные жертвы ты гордо отмстила.
Поклон тебе, крепость великой борьбы,

ужасный свидетель геройской борьбы!
Сыны твои славой твой облик покрыли,
их смертные подвиги нас вдохновили!
Вписавши в историю славы слова,
в деяниях ты и доселе жива:
ты молнии блеском сверкнула в просторе
в дни подлости, в годы позора и горя!
Ты, как Сарагосса, погибла в дыму,
как Гусова Прага поникла во тьму,
ты, кровью омыта, окутана дымом,
примером была для нас самым любимым!
Примером того, как народ не просил
о милости божьей, а недругам мстил;
оружья, припасов, вождя не имея,
стояла ты... Гибелью страшной своею,
без сил, без поддержки, средь огненных стен,
ты, Спарту затмив, превзошла Карфаген!

На церковь войска надвигаются прямо,
встал ужас у паперти божьего храма, —
кровавого торжища враг захотел,
разгула на грудах поверженных тел!
Шрапнель разрывается над колокольней,
а дети и девушки плачут невольно.
Их матери, не совладавши с собой,
забились о камни стены головой
и падали тут же. Другие, седея,
детей удушают рукою своею.
Поднялся тут Кочо — простой чоботарь,
борец обессилевший — старый бунтарь.
Красавицу Кочо зовет молодую,
жену свою с сыном: «Что ж, гибели жду я!
Гляди, что творится... Нас худшее ждет...
Ты все понимаешь? Настал наш черед...
Готова ль ты к смерти?» И мать побледнела.
Лобзанье горячее запечатлела
на лобике детском: «Готова, рази,

но вместе со мною его ты пронзи!»
Заплакал навзрыд ее малый ребенок,
и Кочо увидел, как будто спросонок,
головку ребенка, кровавый клинок,
«С тобой пусть уходит любимый сынок!»
Кровь мальчика с матери кровью смешалась.
И Кочо сказал: «Сил немного осталось,
с собой совладаю — меня им не взять!»
Руками двумя крепко сжав рукоять,
он в сердце направил булатное жало,
а верное сердце унынья не знало,
он пал, побеждая тревогу и страх,
с кинжалом в груди, без испуга в глазах.

И воплями храм сотрясали невесты,
стеная от ран, погибая в бесчестье.
А бог со стены сквозь клубящийся дым
глядел, неподвижен и невозмутим.

Братья Жековы

Под низкою кровлею, на сеновале,
два брата, укрывшись от турок, лежали.
Их чета ушла. Тут старший из братьев
в огне лихорадки, безумный фанатик,
шептал, крепко сжав рукоять револьвера:
«Чего так дрожу я? Иссякла вся вера?
Огонь мою грудь продолжает глодать.
Не хочется здесь, взаперти, погибать.
Ах, мне бы на волю, мне б ринуться в сечу!
Там пулю найду, там погибель я встречу!»
Послышался шум на дворе у дверей,
там кто-то кричал: «Эй, слезайте скорей!»

Хозяина голос: «Слезайте оттуда!»
Вчера — хлебосол, а сегодня — Иуда!
Как слеп и бездушен отчаянный страх,
а он — для ничтожеств — советник в делах.
Неслышно, незримо он в душу вползает,
коварство и подлость в душе порождает:
во власти его, палых листьев желтей,
трусливый отец выдает сыновей,
и мать, выгоняя дитя на дорогу,
трепещет и шепчет: «Мне легче, ей-богу!»
Ни жалости нет у нее, ни любви,
их вытеснил ужас, царящий в крови.
Нет, Жекова не испугать Михаила,
он вихрем взметнулся. Откуда в нем сила?
Он в турок стреляет, крича им: «Назад!»
Но младший бледнеет от ужаса брат.
«Огонь! Окружай!» — заревели аскеры,
и бой разгорелся, нет ярости меры.

От выстрелов стены строенья дрожат,
а Жековы братья у входа стоят,
В руках револьверы, во взгляде решенье:
«Умрем — не сдадимся!» До смерти — мгновенье.
Трепещут сердца их, кровь хлынула в очи,
дерутся с ордою они что есть мочи.
Мякина и сено у них под ногами:
и это защита в сраженье с врагами!
Вдвоем против сотни... Шатается дом,
стервятники кружат над птичьим гнездом.
Но Жековы бьются — прицел у них точен,
убийцы валятся в песок у обочин
и дохнут, как куры в поветрие, в мор,
а кровь заливает разбуженный двор.
«Огня!» — Мустафа закричал разъяренный
и рухнул, стремительной пулей сраженный.
«Поджечь их!» — орет растерявшийся сброд.

И дым ядовитый по сену ползет.
Но тверд Михаил остается, что камень,
а младший, завидя бушующий пламень,
воскликнул: «Сдадимся, иначе сгорим!
Погубит нас этот удушливый дым!» —
«Нет, ты мне не брат!» — старший выкрикнул пылок,
он выстрелил младшему брату в затылок.
Тот рухнул. «Скончался!» — сказал Михаил,
но только на миг револьвер опустил.
«Нет, не опоздаю!» — окутанный дымом,
висок прострелил он, став непобедимым.

И обе души из огня вознеслись,
позора избегнув, в лазурную высь.

Каблешков

Тодор Каблешков (01.01.1851 – 16.06.1876)

О, Каблешков бедный! Народ наш в оковах
не мог даже думать о битвах суровых;
в нем гнев пробудить не могло и само
сгибавшее выю лихое ярмо.
Народ был спокоен. С печатью позорной
он влек свою лямку, отважно-покорный.
С неволей сроднился, ярмом не томим,
затем, что на свет появился он с ним;
с ярмом созревал он, в ярме он родился,
под грузным ярмом по-воловьи трудился.
Улыбчив народ был, хоть часто без сил,
подавленный рабством, как пьяный ходил!
В житье под ярмом он втянулся, как в пьянство.
Со злом примирившись, терпел он тиранство,
что, разум туманя в народе простом,
сравняло людей с бессловесным скотом.
Привыкшие жатву кончать до Петрова,
потом мы Георгия справим святого,
чтоб после, в сочельник, колоть поросят...

Но страшные муки народу грозят!
Тираны шалели, убийства суля,
от свиста булата стонала земля,
ее каждодневно в горах и долинах
пятнали враги алой кровью невинных;
обобран торговец, изранен другой,
вон пахарь с разбитой лежит головой,
отец семерых. Нынче крыша сарая
и мельница завтра пылает, сгорая.
Поборы и подать, разбой, произвол!
Без крова бедняк, а у пахаря вол
уведен. Нет средств от турецкой напасти,
продажность в судах, и оглохшие власти!
И не было выхода. Тяжек был путь.
Тянули рабы, пока в силах тянуть.
И совесть ничью уже не возмущала
та жизнь, что в неволе немой прозябала.
Ни слово свободы, ни ярости клич
до слуха рабов неспособны достичь!

Три года, как Левский угас среди бури.
Народ задремал. Под наметом лазури
раскинулись в рабстве родные края,
у Бога пытая: «Свой гнев затая,
как долго в ярме быть? Бренча колокольцем,
подобно скотине пастись нам под солнцем,
что сумрак не в силах развеять ночной?
Доколе дремать нам, господь всеблагой?»
звенело в просторе извечном и чудном...
Народ спал по прежнему сном беспробудным.

И как-то Каблешков пришел сюда вдруг,
явился — и все взбудоражил вокруг.
И дело, и слово упало, как семя,
на землю, что жаждала воли все время,
везде прогремел тайный зов боевой,

страну пробудил этот голос живой.
Проснулись, воспрянув, как лес пробужденный,
все души живые, мужчины и жены,
все — вплоть до былинок в просторах полей, —
людские сердца застучали сильней
от чувства — умам недоступного косным,
и рабское иго вдруг стало несносным;
героем себя ощущает любой
и пламя идеи влечет за собой.
Наполнены души порывом и жаром,
решимость приходит и к юным и к старым,
в домах и в лачугах — и ночью и днем —
сердца полыхают свободы огнем,
и каждый хоть что-нибудь жаждет свершить,
стыдясь, что так долго мог в путах прожить!

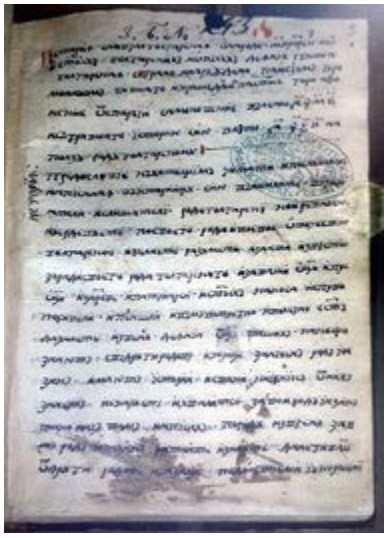
Вокруг все кипело. Великое слово
звучало, в сердцах отдаваясь сурово,
и люди горели, дремоту кляня,
их души пылали пожарче огня.
Усилия, мысли и чувства хотели
к одной устремиться заветнейшей цели,
все преобразилось за несколько дней,
родимых отец не узнал сыновей.
И юность, забыв о веселых забавах,
сбиралася тайно в тенистых дубравах
на сходки... И даже сапожник простой,
про шило забыв, подбородок рукой
своей подперев, впился взором в газету,
и сердце его было страстью согрето.
И скромный учитель, ведя свой урок,
порою ронял, что «тиран наш жесток»,
а также не раз поминал он «свободу».
И время, и сердце, и синь небосвода
к борьбе призывали, к борьбе роковой,
и не было речи о доле другой.
Вражда прекратилась. Любовью бескрайной

мы связаны были и общею тайной;
и каждый был друг тебе, каждый был брат.
Забыли о горечи прежних утрат,
о зависти злобной, о давних раздорах,
и каждый был каждому близок и дорог, —
сдружились друзья и, посмевшие сметь,
готовились в бой не на жизнь, а на смерть.
И общая цель и единое дело
очистило душу и сердце согрело.
И яростно были одушевлены
все люди в пределах родимой страны!
Народом владела лишь вольности сила,
и разум всех жажда свободы пленила,
и каждый себя ощутил вдруг бойцом,
готовым на бунт и мятеж храбрецом!
Орава турецкая сразу затмилась:
прозрев, мы постигли империи гнилость, —
готовой обрушиться сразу — лишь тронь!
И сила мечты и надежды огонь
пред нами предстали, — и все мы отныне
увидели Завтра в нетронутой сини, —
с небесной лазури нам ясно сиял
взлелеянный в наших мечтах идеал,
а все остальное во мраке истлело...
В грядущее вера сердцами владела,
и все ожидало сигнала, толчка,
все знали, что страшная битва близка!
И люди таинственно взоры скрещали,
так братьев друзья без труда понимали.
Великая тайна всеобщей была,
а кто был свидетелем? Полночь и мгла;
как демон неведомый, молот кузнечный
вздымался и ночью в работе извечной;
железо, которое молот ковал,
к утру превращалось в разящий кинжал;
и юноши все, что могли, продавали,
опинцы кроили, оружье искали.

Предвидя застой и торговле конец,
торгует лишь оловом бледный купец!
Подростки, глумясь над турчином в подвале,
шептались и тысячи пуль отливали.
Сушили в селе сухари про запас;
мужик, хитровато прищуривши глаз,
натягивал медленно обод железный
на ствол старой вишни. Работой полезной
он занялся, мудро друзей оглядев…
На пяльцах болгарский оскалился лев.
Из пушек смешных и из ласковых пяльцев,
голов белокурых и трепетных пальцев,
из этих трудов, из болгарских долин
возникнуть был должен герой-исполин.

Так в несколько дней, через мглу лихолетий,
народ сразу вырос на много столетий.

Паисий



О, неразумный юрод! Чего ради стыдишься ты называться болгарином?... Иль не было у болгар царства и государства? Ты болгарин, не прельщайся, знай свои род и язык...

«История славяно-болгарская» (1762 г.)

Далекие годы... На старом Афоне,
где в темной чащобе взор путника тонет,
убежище есть,— там забыт лживый мир,
там хочется верить и в счастье и в мир!...
Там волны Эгейского теплого моря
рокочут, с лесными преданьями споря,
и тихо доносится набожный звон...
Там в маленькой келейке, тихой, как сон,
безвестный монах за церковной оградой
все пишет, едва освещенный лампадой...

О чем же он пишет в полночной тиши?
О том ли, как жить для спасенья души,
о жизни ль святых, испытавших гоненье,

старательно пишет он в уединенье?
Иль славит господние он чудеса?
Иль тщится нам путь указать в небеса?
Иль жизни святых он приводит примеры
египетской, римской и эллинской веры?
Зачем позабыл он про отдых и сон?
Мудрец он? Иль просто помешанный он?
Иль, может быть, он согрешил против Бога,
за что и наказан игуменом строго?
Но вот он вздохнул и промолвил: «Конец!
Венчает мой труд долгожданный венец...»
И бросил он взор восхищенный, приветный
на плод своих долгих и тяжких трудов,
на то, чему жизнь он отдать был готов —
огромную жизнь, — жизнь для цели заветной,
вложил в свою книгу монах незаметный.
Как мать на младенца с восторгом глядит,
он смотрит на труд свой... в нем радость горит,
как в юном борце в час победы желанной,
он рад, как поэт, громкой славой венчанный,
он счастлив, как некий библейский пророк,
иль древний отшельник, когда между строк
в старинных писаньях, обтянутых кожей,
находит вдруг искру премудрости божьей...
И бросил монах свой взволнованный взор
на хаос далеких насупленных гор,
на звездное небо, на шумные волны...
Взглянул на свой труд завершенный и молвил:
«История кончена. Славься, народ —
отныне Болгария право найдет!»

Узнает народ из преданий правдивых
о славе былой, о делах горделивых,
о том, что когда-то свободным был он
и чтил лишь Болгарии вольный закон...
Пусть каждый болгарин прочтет и запомнит,
что греки в страну ворвались вероломно,

что в битвах за волю наш дух не погас, —
за это враги ненавидят так нас!...
Пусть древнюю помнит болгарин столицу
и славных сограждан делами гордится!...
Наш край просвещенную славу стяжал:
славянскому миру он азбуку дал.
Пусть имя «болгарин» теперь не с презреньем
везде произносят, а с должным почтеньем.
Пусть знают народы, что Бог наш велик,
что полон красот наш болгарский язык,
и стыд да нависнет над тем человеком,
кто предал свой край, пресмыкаясь пред греком,
забывшим и имя, и край свой, и род —
измены ему не простит наш народ!
Заблудшие овцы, слепая орава,
во что превратила вас вражья отрава?
От братьев своих отрекается брат,
сменил старину чужеземный разврат,
заброшены вами родные могилы,
лишь вражьи подачки вам любы и милы,
народа чуждаетесь вы своего,
забыв, что позорите сами его!

Читайте, болгаре, о прежних победах,
о славе, сиявшей при доблестных дедах,
которые храбро вставали на брань
и с недругов брали богатую дань.
Могущество зрело в болгарской державе:
по воле святого Бориса в Преславе
крестился народ. Царь Асень возводил
прекрасные храмы. А царь Самуил?
Кем был он, пока не приблизился к аду?
Дураццо он взял и унизил Элладу!!
Читайте: Шишман был разумен и смел,
но власти своей он спасти не сумел...
Калоян всеблагой: его праху доныне
народ поклоняется, словно святыне...

Читайте: Никифора Крум победил,
и череп врага ему чашей служил!
Когда же мадьяр был разбит Симеоном,
послы Византии пришли к нам с поклоном.
Ученым, философом был Симеон,
прославил язык своей родины он,
и часто, устав от забот своих царских,
писал он о славных деяньях болгарских...
Читайте ж, болгаре, закончен мой труд,
преданья правдивые собраны тут.
Читайте и знайте по этим сказаньям,
что славный народ наш достоин признанья,
что мы не презренья достойны, о нет,
что наша история — правды завет!..
Пусть книгу мою сотни рук перепишут,
пусть тысячи тысяч завет мой услышат.
Пусть правда о нас разнесется везде,
где стонет болгарин в бесправной страде.
Читайте же книгу, болгарские люди, —
кто правду поймет, тот разумнее будет!»

Так молвил отшельник. Волненьем объят,
он бросил в грядущее зоркий свой взгляд...
Отдал он полжизни святого горенья
для счастья страны, для ее возрожденья,
забыв для труда монастырский устав,
писал день и ночь, ни на миг не устав!

Так молвил отшельник в далекие годы...
Отвергнутый раем за службу народу,
он первый, предвидя истории ход,
немеркнущей искрой зажег свой народ!..

Братья Миладиновы

Пропойте вы мне, македонские девы,
пропойте невинные ваши напевы,
возьмите букеты — откликнусь я вмиг,
заслышав ваш звучный певучий язык.
Туда устремлюсь я по вашему зову,
и буду вздыхать о вас снова и снова
я с пенистой Дриной и Струмой-рекой,
и эхо с Пирина ответит тоской.
Летите же, песни, из гор македонских,
печальны, как плач на реках вавилонских;
в тех песнях кандальный мне слышится звон...
Развейте же, песни, кладбищенский сон!
О, эти старинные воспоминанья,
сказания древности нашей, преданья,
чудесные тени минувших веков —
о славных дружинах юнаков-орлов,
о храбрых, в борьбе за свободу сраженных,
достойною славою не окруженных,
о тысячах раненых, павших борцов,

кто вновь с Крали Марко к походам готов!

Ты, наш Крали Марко, встаешь, как в тумане,
славянская слава, фантазий созданье,
Роланд македонский — заветный, родной,
друг слабых и бедных, народный герой!
Ты мчался пустынями, мчался лесами,
дамасский свой меч вознося над врагами!
Кого не страшил ты, разящий грозой,
орудуя палицею боевой?
Где ты не сражался с Муса-Кеседжией?
Куда ты не мчался с конем Шарколией?
Где только следа великаньего нет?
На скалах гранитных ноги твоей след!
В Белграде и в Прилепе в темной пещере,
тобой рождены, притаились поверья.
Как призрак, ты, черным конем вознесен,
взлетаешь над Кукушем, на Геликон!
Какая гигантская тень твоя всюду!
Какою же сказочной вскормлен ты грудью!
Коль на ноги станешь ты, наш исполин,
под правою — Хемус, под левой — Пирин!

Летите, о песни, великое слово!
Вы — словно последние вздохи былого.
Так пойте же, девушки, песенный дар,
несите восторженно в Пинд или в Шар
и в Стругу — мой город любимый особо:
ведь там родились Миладиновы оба.

В темницах зловонных и затхлых, сырых,
покрытых мокрицами стен вековых,
истерзаны, гнили, закованы оба,
два трупа, что брошены были в два гроба.
Века миновали! Тепла и светла,
надежды заря в их сердцах не зажгла.
О, прокляты будьте, вы, тюрьмы глухие,

где гибли, разбившись, сердца молодые,
где столько могучих надорвано сил,
где столько насилий тиран совершил.

Дмитрий был в бездну низвергнут безвинно,
и скоро столкнули туда Константина.

В те годы борьба справедливая двух
будила народный отвагою дух —
Несли Миладиновы вещее слово
о битвах грядущих, о будущем новом.
Почувствовали они первые срам,
великое чувство, — безмолвствовал храм,
в котором мольбу вознесли они Богу
на том языке, что веков уже много
был загнан, схоронен: «Народ наш велик, —
сказали, — и Богу наш внятен язык».
И крикнули: «Сбросить нам нужно скорее
те ярма, что фанариоты на шею
надели!» За то, что — презревшие страх —
грехом не сочли они с верой в сердцах,
бороться под стягом «Наука, свобода!» —
погибнуть за правое дело народа.
За то, что за песнями край свой родной
прошли, — как по берегу Тунджи весной
с корзинами девушки, розы сбирая,
для этого утром пораньше вставая,
вплетая себе в ароматной венок
колосья иль росной герани цветок.
За то, что бывали они средь народа —
на сборищах, свадьбах или в хороводах,
или находили седых стариков,
что пели им сказы далеких веков.
За то, что собрали они воедино
напевы народа, сказанья, былины;
к служителям музы нагрянул во храм
в ночи патриарх к нашей песни друзьям;

изрек он, грозя им мученьем суровым:
«Соскучились два бунтаря по оковам».

В железы закованных, вот почему
их заживо замуровали в тюрьму.

Две жизни, тюремным отравленных смрадом,
губили тюремщики медленным ядом.

Вдруг весть о прощении к братьям пришла.
Фанар — то гнездо черноризца, где мгла,
кощунство, и лень, и вместилище блуда, —
Фанар, закосневший в пороках, откуда
весь мир отравляли столетье подряд
зловоние падали, низкий разврат, —
который опутывал сетью густою
все передовое и мертвой рукою
душил человеческий разум, зане
от века он сам пребывал в полусне,
далек от борьбы, идеалов и чести, —
Фанар взорвался, чуть услышав известье
о милости, молвил он: «Божий есть суд!
Так пусть же преступники-братья умрут!»

И, перекрестившись, послал им отраву.
Рассвет был холодный и мрачный, кровавый.

И весть прозвучала под сводом глухим
тюремным: жизнь, милость дарована им!
А бедные братья в предсмертном страданье
лежали уже при последнем дыханье.
И, божьему свету промолвив «прости»,
уже холодея, без жизни почти,
шептали чуть слышно они, угасая:
«Тебя мы, Болгария, любим, родная!»

Раковски

Георги Раковски (02.04.1821 – 09.10.1867)

Воитель тревожный, мечтатель безбрежный,
суровой эпохи избранник мятежный,
Раковски, ты спишь под могильным крестом,
надломленным ветром в бурьяне густом.
Почил ты спокойно, — заснуть не хотевший,
над пламенем злобной стихии кипевший.
Дремли, отшумевший, спокойно дремли.
Кто вырвет тебя из могильной земли?

Седая природа вещей и явлений
хотела вложить в тебя жаждущий гений,
и череп твой стал словно жаркий очаг,
и пламя восторга взыграло в очах.
Увы! Искушаемый демоном тайным,
ты сделался крайних начал сочетаньем,
пылающим сердцем, в котором жила
сверканьем зарниц побежденная мгла.
Врагов ненавидя враждой сатанинской,
к друзьям ты любовью пылал исполинской,
любовь словно крестную ношу влача,

ты верил — и вера была горяча.
Кумир твой — свобода, святая свобода!
Ты верил в Балканы и в сердце народа,
народа в бесчестье, народа в крови.

Вся жизнь твоя — подвиг мечты и любви!
В грядущего мрак ты вглядеться пытался,
в забытое прошлое дерзко вторгался,
чтоб снова взметнуть, словно знамя полка,
забвеньем покрытые славы века,
звучанья юнацких сказаний и песен,
преданья, которых не тронула плесень...
Ты взором орлиным глубоко проник
в сужденья болгарских писаний и книг,
и в древности темной глухие провалы
мечта твоя дух животворный вдыхала.
И делались ближе, теплей и родней
виденья в прошедшее канувших дней.
А сердце твое было верой согрето,
от сфинксов немых ожидал ты ответа,
шагал ты, сметая преграды с пути,
везде ты хотел, побеждая, пройти!
Ты, сердцем высок и душой беспокоен,
несчастный мечтатель, апостол и воин,
хотел, чтоб в мгновенье слетело само
пятивековое гнилое ярмо.
Мы помним: на Саве и у Дымбовицы
ты первый воскликнул: «Свободы зарницы!»
Перо твое, речь твоя, ярость бойца
надежды вселяли в людские сердца.
Недремлющий дух усыпленного края,
стоял ты на страже, очей не смыкая,
то мудрый мыслитель, в ком древность жива,
то просто шальная сорвиголова!
То узник в Стамбуле, то вождь на Балканах
поэт и разбойник в отрепьях и ранах,
ты был воплощеньем извечной борьбы,

железом, и мыслью, и громом трубы!

Века о деяньях твоих поразмыслят
и к славному лику бессмертных причислят.

Тебя зарывали без набожных слез,
и холм твой могильный бурьяном зарос,
людьми позабыта могила немая...
Но не заросла та дорога прямая,
она — как в грядущее брошенный луч,
что нам указал ты средь мрака и туч.

Караджа

Стефан Караджа (11.05.1840 – 30.07.1868)

Был мятеж подавлен. И в лесных чащобах
пали все герои с доблестью бок о бок.
И Хаджи Димитр там пал в краю лесном,
потому что враг нас превзошел числом.
Первая дружина на заре движенья
пронеслась как буря, словно сновиденье, —
метеором ярким вспыхнула во тьме.
Но после сраженья долго лес гремел.
И свободы слово в грозном вихре боя
взмыло на рассвете в небо над листвою!
Голос нашей воли, гром лихих годин,
разносило эхо по краям теснин,
по горам, укрытым ризами печали.
Мертвые герои беспробудно спали
на вершине горной. Ни один из них
не покинул места схваток роковых, —
воины-болгары сердцем не ослабли,
перешли Дунай и обнажили сабли,
потому что воли пламенная власть
в души горделивых мужеством влилась.
И приказ был отдан: с турком насмерть драться,

умереть, коль надо, только не сдаваться!
Гордый Банков поднял льнущего к древку
льва, что был иглою вышит на шелку.
Смерть во вражьем стане бесноваться стала,
первых турок сотня в страшной схватке пала.
На болгар отважных, яростью дыша,
в бой по сотне ружей старый слал паша.
И, скользя как тени, злобой разогреты,
тысячи волков шли против нашей четы...
Но ребята наши умерли там с честью.

Был Митхад доволен столь кровавой вестью.

Мерзостные звери, те, что падаль ищут,
мясо рвут на части и меж трупов рыщут;
и орлы примчались, тоже тут как тут,
голым трупам очи мертвые клюют;
стаи мух жужжащих неотвязным роем
льнут к погибшим в схватке, льнут к немым героям,
что под солнцем знойным сном последним спят.

Схваткой был доволен старый тигр Митхад.
Задрожал от счастья гнусный победитель,
виселицы начал возводить душитель
по селеньям нашим — и понесся плач;
пахарь смотрит, бледен, что творит палач, —
поднялись глаголы этих пугал черных,
дети обходили площадь казней скорбных,
колыхались трупы, и пыталась мать
в призраках казненных сына опознать!
Все объяты страхом. Тюрьмы — на пределе,
доверху набиты. Юноши висели:
в судорогах принял смерть один из них,
а другой — желтее стал цветов сухих, —
всю страну сдавили ужаса объятья.
Брат, боясь доноса, умолкал при брате,
сын бледнел от страха, увидав отца,

забрела измена в робкие сердца,
ненависть и ужас в души вторглись смело,
на веревке бремя скорбное висело,
и на всех обличьях и во всех глазах
поселился темный и угрюмый страх.
В эти дни позора, мерзости, бесчестья
Караджа схватили турки среди леса.

С жаркой кровью в жилах, полный гневных сил,
Караджа отважный в битвах первым был,
мудрецом в совете и орлом на кручах,
гордостью дружины, лучшим был из лучших!
Он Хаджи Димитру первый друг и брат,
очи его чистой доблестью горят,
чувства в них обоих светлые пылали,
Под единым флагом оба воевали
и одной служили истине живой,
разумом один был, а другой — главой.
Был один — душою, а другой был — кормчим,
вместе был весь путь их пройден и окончен.
Караджа был связан, скован, взят в полон,
грязным и свирепым сбродом окружен,
сволочью кровавой. Вражьих орд остатки
удушить героя тщились после схватки.
Он один — болгарин, переживший бой,
связан был и сломлен яростной судьбой, —
лев непобежденный, лев окровавленный,
Караджа шел гордый, шел неусмиренный,
шел к столбу позора, к черному столбу,
что вошел как символ в скорбную судьбу.
А толпа скоплялась, а толпа ревела,
но глядел болгарин пламенно и смело,
солдатня смотрела на него, глумясь,
подбегали дети и швыряли грязь,
а одна турчанка туфлю расстегнула,
Караджа с размаха по лицу хлестнула.
Караджа брел мрачно, весь с молчаньем слит,

будто и не слыша пакостных обид:
там он был, где други в жаркой битве пали,
где об идеале праведном мечтали...
Льва он видел тоже, видел, лев готов
прямо с флага прыгнуть на лихих врагов;
слышал говор грабов, видел свет природы,
необъятной, полной солнца и свободы,
и Хаджи Димитра. Тот кричал ему:
«Караджа, один я смерти не приму!»
А когда добрел он все ж до места казни,
засверкали очи грозно, без боязни,
грудь герой расправил и воскликнул, смел;
черный сброд турецкий тут же онемел,
чтоб расслышать лучше, что на этот раз
молвит храбрый смертник в свой последний час.
Потому что в годы гибельных свершений,
подлостей, предательств, ужасов, глумлений
часто оглашался неба синий кров
отзвуком высоких и великих слов, —
не все безгласно гибли от руки тиранов.
Нет, немало было доблестных титанов,
на челе которых вещие слова
говорили людям: «Жизнь еще жива!
Славных предков наших нет под Божьим сводом:
Мы — потомки славы, мы — болгары родом! »
Караджа промолвил, глядя на народ
и куда-то дальше: «Вышел мой черед,
так прощайте, братья, нынче ухожу я,
тягостную муку в сердце уношу я!
Не погиб, не умер на холмах Балкан
я от ран жестоких, от кровавых ран.
Потому-то всех вас вкруг меня собрали,
но не плачьте, нынче слезы скудны стали:
умереть готовьтесь — смерть нам не страшна,
новые настали нынче времена.
Кровь дешевле стала — битва наступила,
и теперь позора нам милей могила!

По борьбе и думам мы одна семья,
что ж — я не последний и не первый я
гибну! Нет — рекою хлынет кровь народа,
кровь болгар отважных. Смерть или свобода!
Злобствуйте, злодеи, — весь наш род воспрянет,
многих вы убили — больше в битву встанет!
Мы народ упрямый, молодой народ,
нас не остановит нынче вражий сброд,
нас не остановят — все на бой со псами:
мы хотим свободы — будущее с нами!
Многие погибнут — пуля им готова,
чтоб потом подняться, чтоб воскреснуть снова!
Будущее вижу: кончатся напасти!
Турки! Ясно вижу гибель вашей власти!
В бой, друзья и братья, — новый день придет...
Пусть я умираю — жив родной народ!
Жив мой край болгарский — жив оплот народа!
Умираю, братцы! Смерть или свобода!»
И, когда врагами был удавлен он,
вдруг тысячегрудый к небу взвился стон,
и звучала долго в далях небосвода
пламенная клятва: «Свобода, свобода!
Смерть или свобода!»

1876

Брацигово пало после славной битвы.
Как всегда, сраженье началось с молитвы,
с песен. Но надежды завершил разгром.
Предан был Батак наш. И легла ничком
Копривштица наша в грозном вихре бури, —
пушка-самоделка не спасла Клисуру.
Увидала рано бледная заря —
вся в крови дымится Средняя гора.
Десять дней сражались панагюрцы гордо,
все же их сломили мстительные орды;
и герой Каблешков, гневом распален,
был веревкой скручен — взял его в полон
темный поселянин. Даже лев Бенковски,
в ком смешались чудно Левски и Раковски,
над рекой геройски голову сложил.
Стыдно мне признаться, кем он предан был...
В той неравной битве враг, силен числом,
смёл восторги наши, гордый наш подъём!
Да, удар был тяжек, паника ужасна,
многое померкло, многое угасло.
И опять сказался здесь инстинкт раба,
омрачилась снова родины судьба!
Тяжесть поражений и измен все новых —
плод извечной жизни в тягостных оковах.
Вот что нам великий нанесло урон!
И эпохи этой в хаосе времен
огненно-кровавый будет след светиться,
мрачной и жестокой, ей в веках не скрыться,
вечно ей пред нами тучею стоять,
на историю нашу будет тень бросать,
чтоб не забывали мы тот год кровавый,
год позора, срама и бескрайной славы.

Волов

Панайот Волов (1850 – 26.05.1876)

Бледные, бежали от враждебных орд.
Обливаясь кровью, Волов, храбр и горд,
вскрикнул: «Все пропало, нам не драться дольше,
рухнуло восстанье, нет надежды больше,
Как же нам бесславной смерти избежать?»

Балканы:
— Ни тропы, ни ложа вам не можем дать.
Город:
— У меня лишь петли.
Хижина:
— А на мне проклятья.
Янтра:
— Так скорей, бедняги, все в мои объятья!

Ополченцы на Шипке

11.08.1877 г. – Орловский 36-й и Брянский 35-й пехотные полки; болгарское ополчение. Командующий – Николай Столетов.

Пусть следов позора мы еще не стерли.
Пусть еще рыданья стынут в вашем горле.
Пусть мрачнее тучи, полночи черней
память униженья, горечь прошлых дней.
Пусть еще мы светом и людьми забыты.
пусть народа имя трауром повито,
пусть в прошедшем нашем, точно злая тень —
скорбный день Батака, Беласицы день.
Пусть иные люди осмеять готовы
боль, что принесли нам старые оковы.
Укорить нас гнусной памятью ярма;
пусть твердят, что вольность к нам пришла сама.
Пусть. Но в нашем прошлом, не таком уж давнем

веет чем-то новым, богатырским, славным,
чем-то необычным, что, вздымая грудь,
в ней сумело пламя гордое раздуть:
потому что в грозном, роковом молчанье,
подпирая небо мощными плечами,
вся в костях холодных, кручами остра,
высится седая, мшистая гора.
Памятник огромный подвигов бессмертных;
есть такое место на Балканах светлых,
быль, что сказкой стала у народа, есть.
В ней бессмертье наше, наша жизнь и честь.
Слово есть, что славу нашу окрылило,
что собой затмило даже Фермопилы.
Это слово — имя славной высоты —
обломает зубы злобной клеветы.

Шипка!
Трое суток юные дружины
держат оборону. Темные долины
вторят грому битвы в непреклонный час.
Враг идет на приступ! Уж в бессчетный раз
лезут злые орды по суровым кручам;
на отвесных скалах, брызги крови жгучей,
от кровавой бури свет в очах померк.
Сулейман безумный поднял руку вверх
и кричит: «На Шипке мерзостная челядь!»
Лезут вновь на приступ, наводнив ущелье,
с именем аллаха турки, — но гора
отвечает грозным рокотом: «Ура!»
Пули, камни, бревна вниз несутся градом.
Храбрые дружины, встав со смертью рядом,
отражают натиск злобного врага:
дорога отвага — жизнь не дорога!
Нет, никто не хочет быть последним в войске.
Каждый, если надо, встретит смерть геройски.
Слышен треск винтовок. Турки вновь ревут,
вновь бегут на приступ — страшен наш редут!

Турки злы, как тигры, а бегут, как овцы.
Вновь волна взметнулась: держатся орловцы
и болгары — им ли страшен смерти взор!
Штурм жесток и грозен, но грозней отпор.
Бьются трое суток — помощь не приходит,
взор нигде надежды светлой не находит,
не летят на помощь братские орлы:
но стоят герои средь кровавой мглы.
Точно горсть спартанцев против Ксеркса полчищ.
Хлынул враг на приступ, — выжидают молча!
И когда последней схватки час настал,
наш герой Столетов, славный генерал:
«Братья-ополченцы! — крикнул с силой новой.
Родине сплетете вы венец лавровый!»
И опять герои всей дружиной гордой
ждут, когда прихлынут вражеские орды.
Бешеные орды. О высокий час!
Волн порыв улегся, присмирел, погас.
Кончились патроны — воля не изменит!
Сломан штык — ну что же, грудь его заменит!
Если нужно, сгинем в битве роковой,
пред лицом вселенной на горе крутой.
Смертью богатырской, и битве побеждая...
«видит нас сегодня вся страна родная:
ей ли наше бегство с высоты узреть?
Отступать не станем — лучше умереть!»
Больше нет оружья! Бойня, гекатомба, —
каждый кол — оружье, каждый камень — бомба.
В каждом сердце яркий пламень запылал,
камни и деревья рухнули в провал!
Кончились и камни — стало биться нечем, —
мы с крутого склона в турок трупы мечем!
И на орды вражьи черным, страшным роем
падают с обрыва мертвые герои.
И трепещут турки: никогда пред ними
не сражались рядом мертвые с живыми;
в воздухе витает одичалый крик.

Алую дорогу пролагает штык.
Но герои наши, встав скалою твердой,
встретили железо мощной грудью гордой
и рванулись в сечу, отметая страх,
чтобы гибель встретить с песней на устах...
Но опять взметнулись орды полчищ диких,
захлестнуть пытаясь воинов великих...
Кажется, достигнут храбрости предел...
Вдруг Радецкий славный с войском подоспел!

И теперь, лишь буря грянет на Балканы,
вспоминают Шипку горы-великаны,
и проносят эхо — гром былых побед —
через перевалы, в сонм грядущих лет.